



ЭДУАРД РЕЗНИК

терапия



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р34

Художественное оформление серии
Константина Гусарева

Иллюстрация на переплете *Ильи Громова*

Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova
Literary Agency за содействие в приобретении прав

Резник, Эдуард Григорьевич.

Р34 Терапия / Эдуард Резник. — Москва : Эксмо, 2022. — 480 с.
ISBN 978-5-04-114229-2

Роман Эдуарда Резника — не по-современному эпичный и «долгий» разговор о детских травмах, способных в иные эпохи породить такие явления, как фашизм.

Два главных героя «Терапии» — психотерапевт и его пациент — оказываются по разные стороны колючей проволоки в концлагере. И каждому предстоит сделать не самый простой выбор: врач продолжает лечить больного даже тогда, когда больной становится его палачом.

Эта книга напомнит вам о лучших образцах жанра — таких как «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини, «Татуировщик из Освенцима» Моррис Хезер, «Выбор Софи» Уильяма Стайрона и, конечно же, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург.

Роман притягивает не столько описанием чудовищной действительности лагеря, но — убедительностью трактовок автора: Резник подробно разбирает мотивы своих героев и приходит к шокирующим своей простотой выводам. Все ужасы — родом из детства...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-114229-2

© Резник Э., текст, 2021
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Роман не претендует на историческую достоверность.
Все имена, места, события вымышлены.
Все совпадения случайны.

Особая благодарность автора:
Леониду Израелиту, Михаилу Каретному,
Светлане Степухович, Алле Кисин,
Simon Izraelit, Yuval Naor, Melanie Moore.

КНИГА ПЕРВАЯ

РИХАРД

Весь последний год мне было семнадцать. Теперь стало восемнадцать. Это как-то странно — я все тот же, а цифра другая. Какое значение имеет цифра, если есть вещи, которые год за годом не меняются? Например, мое отношение к радостным. Радостные — придурковаты и лживы. Злобные и подавленные мне ближе. Я им верю. Там, где злоба, там всегда отчаяние. Просто оно спрятано. В злобном я вижу своего. Свой — это тот, с кем можно объединиться против радостных.

* * *

Подсчет нужно вести с 1933 года — когда я жил еще в Берлине и мне было семнадцать. Если считать от этой точки, всего за мной будет числиться несколько сотен смертей — точно подсчитать уже невозможно. Да и смысла нет — двадцатый век убил больше ста миллионов, а тут вдобавок еще какой-то Рихард со своею жалкою кучкой трупов — кому это интересно?

Я понимаю, почему мне хочется рассказать о своей кучке трупов — их ведь убил я, а не двадцатый век. Уже много лет я таскаюсь по городам и весям с этой тележкой.

Трупы на тележке давно высохли, они теперь совсем легкие, да и кровь этих людей тоже высохла — раньше она стягивала мне одежду, делала ее жесткой и сковывала движения, но теперь растрескалась и выкрошилась в дорожную пыль. Там ей и место.

Эдуард Резник

Появившись с тележкой в очередном незнакомом городе, я униженно пытаюсь заинтересовать своими трупами первых встреченных мною прохожих. Но все равнодушно проходят мимо. Тогда я говорю им: «Это я убил их, мне семнадцать, бросьте хотя бы взгляд...»

Но меня и мою тележку избегают – люди отводят глаза и поспешно уходят... Почему они так боятся?

Завидев полицейского, я подкатываю тележку к нему. Полицейский обязан интересоваться трупами. Но нет, ему тоже безразлично – он расплачивается за кофе, делает первый глоток, а потом, увидев, что я никуда не ушел и все еще жду реакции, насмешливо говорит:

– Иди к бесу, ты уже отсидел за это.

Да, он прав, я действительно за них уже отсидел. Но я не ищу дополнительных наказаний, мне теперь нужно совсем другое – знать, почему так случилось. Почему я оказался перемазан с ног до головы этой кровью?

Разумеется, в детстве меня тоже учили, что убивать нельзя. Я стремился быть хорошим – старательно впитывал знания, делал все, чтобы меня хвалили. Но потом началась взрослая жизнь.

* * *

Плохо, что, пока в нашем мире есть подобные мне, любое человеческое существо может быть так легко убито. Представьте: чтобы человек родился, перед этим должны родиться и прожить свои жизни сотни или тысячи поколений. На протяжении десятков тысяч лет они должны есть, спать, познавать мир, весело соблазнять друг друга, испытывая симпатию и любовь. Без симпатии и любви новые люди, как правило, не появляются. Если не учитывать таких, как я, конечно.

А потом, когда человек вырос и превратился во взрослого, предыдущие поколения должны смиренно и с некоторой печалью удалиться в туман прошлого. Или, иными словами, к чертям собачьим. Так должно длиться из века в век, и тогда в конце

Терапия

тысячелетней цепочки появится наконец милое, ничего не подзревающее существо — моя будущая жертва.

Для того чтобы это существо умерло, уже не требуется никакой череды поколений, никакой симпатии и никакой любви. Достаточно всего лишь одного меня. Ну и нехитрого приспособления в моей руке. И небольшого движения пальцем. Разве это нормально? Нет, не должно быть так. Это надо как-то исправить. Иначе такие, как я, будут продолжать дарить окружающим горе — у меня его на всех хватит.

Вечером, когда солнце уже скрылось, я обычно выезжаю на какое-нибудь пустынное место за чертой города. Ложусь на тележку рядом с моими никому не нужными трупами, укутываюсь в наше покрывало, закрываю глаза и пытаюсь уснуть. Тогда-то помимо моей воли и начинает звучать в голове странный примитивный марш...

Вообще, марши придуманы для того, чтобы наполнить слушателя ритмом, увлечь движением, создать ощущение радостной спешки. Это способ придать ритм и структуру любой ерунде — например, чьей-то военно-политической истерике. Вы, наверное, и без меня раньше замечали, что если любую дрянь, пустоту или глупость снабдить ритмической структурой, она начинает завораживать, гипнотизировать и казаться мудростью.

Впрочем, лучше меня вам об этом расскажут популярные певцы. А еще — мой придурковатый кумир Адольф Гитлер. Осознание его придурковатости нисколько не мешает ему быть моим кумиром. Для того чтобы придать своей галиматье ритмическую структуру, он тоже умеет играть ударениями, паузами и повторами. В этом смысле каждая его речь — музыкально-поэтическое произведение. Я надеюсь, что когда-нибудь дойду до таких высот в обществе, что этот поэт и композитор обнимет меня и сделает своим другом.

В тот день я шел по берлинской Вильмерсдорферштрассе в направлении Шиллерштрассе. Этот злобненький и визгливый марш еще с утра привязался ко мне и теперь безостановочно

Эдуард Резник

звучал в голове. Его ритм придавал судорожную энергию всему, что меня окружало: странно дергались и люди, и машины, и даже птицы. А если какая-нибудь растерянная старуха не понимала, что от нее требуется, странно вертела головой и продолжала волочить свои сухие ноги, такой старухе, без всякого сомнения, надлежало умереть – повторив судьбу всех тех, кто не вписался в ритм моего марша раньше.

Старуха, шедшая по Шиллерштрассе, скрылась за углом, и теперь навстречу шла молодая женщина с прекрасной фигурой – ей было весело, у нее молодые ноги и широкий шаг, и она прекрасно вписывалась в марш.

Встретив мой благожелательный взгляд, она улыбнулась, и я ей тоже: почему бы не улыбнуться милашке, которая даже не подозревает, в какой опасности находится?

* * *

Я люблю идти быстро. Марш соответствует широкому шагу. Пару недель назад он тоже звучал во мне – когда энергично и твердо взлетал я по незнакомой лестнице на темный пыльный чердак – место, где мне предстояло убить свою последнюю жертву.

Дом был выбран наобум – после того как в предыдущем случайно выбранном доме чердачный люк оказался на замке – этот замок чуть не сорвал все злодеяние.

В тот день я еще не знал, что волею обстоятельств это убийство не состоится и жертва останется жива. Не знал и того, что намеченная жертва окажется, к сожалению, далеко не последней в череде моих будущих жертв.

Делу помешал один старый придурок: это был его дом и его чердак. Он жил на последнем этаже, потому и услышал шаги над потолком. Позже оказалось, что побелка с потолка просыпалась в его тарелку – это и сорвало мне все дело. Он давно собирался залезть на чердак, чтобы закрутить там краны отопления, да все откладывал...

Терапия

У него была семья — жена и дочь. Мы не могли знать, что окажемся связаны на многие годы — до самой последней его минуты, когда горячий кусок железа с шипением разворотит ему живот. Да, это может шокировать — он умер именно так.

Этот кусок железа приготовили для него на военном заводе одиннадцати-двенадцати-тринадцатилетние дети из далекой страны. Взрослые поставили их к станкам в ночную смену. Надо работать, а не играть в глупые детские игрушки, дурачиться или спать. Взрослые любят свои собственные, очень умные, серьезные игрушки. Одна из которых — война. Они ставят к станкам детей, даже если те хотят спать. Снаряды ведь надо делать и ночью.

* * *

Все, о чем я здесь пишу, происходит почти за сто лет до вас. Может быть, сейчас, когда вы читаете эти строки, я еще жив даже. Если так, жив я все равно условно — скорее всего, угасаю умом и телом в каком-нибудь зоопарке для саблезубых стариков, и сегодня, а может, завтра, меня все же похоронят.

Скорее всего, к той минуте, когда вы взяли в руки эту книгу, я уже умер. В этом случае единственное, что от меня осталось, — кости, волосы и ногти. Вы их не бойтесь — они далеко, они надежно зарыты в землю, они не восстанут и не нападут на вас. Они не агрессивны и даже в чем-то милы и трогательны.

Еще в детстве, в моем шестилетнем возрасте, когда я откопал во дворе нашего дома свой первый труп, я обнаружил, что волосы и ногти продолжают расти и под землей. Возможно, это всего лишь легенда, но те рыжие волосы действительно были очень длинными: они могли бы обмотать мою тонкую шестилетнюю шею раз десять. А если бы они зашевелились, вознамерившись задушить меня, то тогда, наверное, и все одиннадцать...

Своими размышлениями о загробном царстве я поделился в те дни с мамой. Но она отказалась говорить со мной о смер-

Эдуард Резник

ти. Она сказала, что не хочет об этом думать и что мне тоже следует забыть об этом.

Будучи послушным шестилетним мальчиком, я был рад, что на земле есть кто-то, кто знает, о чем мне думать, а о чем нет. Эта определенность дарила спокойствие и ощущение безопасности. Вот почему я сразу же честно постарался забыть об этом и забыл настолько крепко, что с тех пор уже сто лет эта смерть и эти волосы не идут у меня из головы.

* * *

Зря мама не захотела говорить со мной о смерти... Скоро у меня появилось настоящее детское сокровище — сразу несколько человеческих черепов. Они стали моими настоящими друзьями. Они полюбили меня, одинокого ребенка, и как могли старались развлечь и развеселить. Например, если поставить челюсть мостиком и как следует ударить по ней палкой, зубы выстреливали из нее не меньше, чем на два с половиной метра. Зубам нравилось веселить меня.

А если продеть веревку через глазное отверстие, а потом через позвоночное, и привязать эту веревку к велосипеду, череп звонко скакал и прыгал, как мячик, — я и представить себе не мог, что кости человека такие пружинистые и прыгучие.

Много неожиданных сокровищ для шестилетнего мальчика оставила в земле Первая мировая война. И все эти сокровища я с радостью положил бы к ногам любимой мамы. Но ее страх смерти оказался сильнее интереса к искренним подаркам сына. Поэтому самых ценных игрушек, в которые играл сын, мама так и не увидела. Жаль, что она никогда не играла в мои игры...

У вас может возникнуть вопрос: если я выжил из ума или уже умер, как же я тогда пишу эту книгу?.. Думаю, ее горе мое пишет: оно не умерло. И не умрет, даже если я потеряю память.

Я уверен, что горе умеет жить отдельно от памяти. Однажды, после войны, когда я встретил своего отца, он уже не узнавал меня. Он вообще не помнил, кто я такой. Потеря памя-

Терапия

ти прогрессировала у него быстро. Она случилась с ним очень кстати — прямо перед судом: именно благодаря ей он избежал участи других нацистских преступников. Он не помнил ничего, но горе в нем все-таки было — я это как-то чувствовал.

Вообще, горе — это хорошие чернила. Идея написать книгу чистым горем вполне осуществима. Раньше, в мои времена, чернила были такие черные, что даже отливали на свету всеми цветами радуги — желтым, зеленым, красным. Если писать книгу горем, она не будет черная. Там все цвета будут — и цвет радости, и цвет печали, и цвет надежды.

Эта книга — единственное, что осталось от того, кто потерял память. Если не считать никому не нужных костей, волос и ногтей. Она о смерти в молодом возрасте. О небесной красоте, втопанной в грязь и кровь. А еще о любви, которую я предал.

* * *

Сегодня, когда вам хреново на душе, вы бежите, наверное, к своему психологу? А когда хреново было мне, я шел убивать. Не потому что я какой-то мрачный, опасный и злой убийца, а просто потому, что так мне делалось легче, а никакого другого способа в голову не приходило. Сначала я убивал мысленно. Потом по-настоящему. Наверное, одно последовало из другого. Уверен, что доктор Циммерманн тоже увидел бы такую связь.

Сегодня, например, будет убит начальник цеха разделки рыбы. Я работаю в этом цеху уже больше месяца, мне уже девятнадцать. Этот начальник давно напрашивался. У него, наверное, есть семья, и он, должно быть, хороший человек. Но он, на свою беду, оказался причастен к системе принуждения, которая держит меня в тоске. За это по моим законам полагается смерть.

Сам он ничего пока не подозревает. Ему не понять моей тоски. Он настолько прост и жизнерадостен, что не может, наверное, испытывать подобного. Или, возможно, по вечерам он заливает тоску шнапсом. Или заглушает однообразными играми

Эдуард Резник

с потной уставшей женой. Которая каждый вечер безуспешно пытается убедить его, что хочет спать. Зря она пытается — бессмысленные сигналы его рептильного мозга сильнее ее желаний. А решает, разумеется, сила.

Я ничего не знаю о его семейной жизни, я незнаком с его женой, но зачем она его терпит? Зачем ей эта дрящящаяся годами придурковато-жизнерадостная тоска?

Этот человек сделал все, чтобы в жизни его женщины не осталось никакого праздника, — как и в моей жизни тоже. Он хочет, чтобы весь смысл моего существования свелся к разделке рыбы. Кишки налево, головы направо. Ничего себе!

Его не волнует, что планеты и звезды до моего рождения миллиарды лет крутились в холодном космосе. А потом еще миллиарды лет будут крутиться после моей смерти. А в промежутке между этими миллиардами есть краткая вспышка — миг, в течение которого возник и существую я. И этот свой бесценный миг я должен посвятить тоскливой разделке проклятой рыбы? Да как он смеет? Вот за эту дерзость он и будет сегодня убит. И на этот раз не мысленно.

* * *

Почему человека нельзя убить за его ограниченность? В частности, за то, что за рыбьими хвостами он отказывается видеть Вселенную и ее вечность? Его убийство станет освобождением не только для меня и не только для его жены, которую я никогда не видел, но и для его детей — зачем им такой отец?

Ах, они его любят просто потому, что он их папа? Нет, меня это не устраивает — такой папа не должен плодить себе подобных. У меня не было папы, и у них тоже не будет.

У их папы был отличный шанс остаться в живых, и не моя вина, что он им не воспользовался: он мог бы увидеть во мне не просто безликого работника в фартуке, а, например, человека, друга и... сына.

Терапия

У него, вообще-то, уже есть двое сыновей — им шесть и восемь, я видел их фотографии у него на столе. На одной из них он учит младшего кататься на велосипеде. А Рихарда он ничему не научит — Рихард в его жизни существует не для этого. Рихард должен резать рыбу и получать за это деньги. Тот, кто не видит в Рихарде сына, согласно моим законам, заплатит жизнью.

* * *

Огромный и гулкий цех, высокие потолки, стены из красного кирпича, большие мутные окна, через которые светит солнце, — это и есть моя тюрьма. Я стою у конвейера в ряду одинаковых работников, на мне такой же, как на других, старый потертый клеенчатый фартук. Противно было впервые надевать его. Но с течением времени противное перестает быть таковым — оно сливается со мной, становится частью меня, и я тоже становлюсь противным. Фартук мне велик, но я сделал вертикальную складку и подпоясал его.

В руках у меня острый нож — он предназначен для разделки рыбы, но сойдет и для начальника. Точными быстрыми движениями я отрезаю рыбе голову и вспарываю ей живот: голова налево, кишки направо. В такт движениям рук я покачиваюсь всем телом в ритме своего марша.

Человечество под звуки этого марша ест рыбу уже миллионы лет. Тот, кто надел этот фартук впервые — пока фартук был еще хрустящим и новеньким, — наверняка уже лежит в земле вместе со своими волосами и ногтями. А тот, кто наденет этот фартук после меня, даже не будет знать, что я когда-то жил.

Звезды будут продолжать вечный полет в холодном космосе, и на одной из вымерших планет мой мертвый фартук в тишине и одиночестве будет продолжать вечное служение бессмысленному и безостановочному поеданию рыбы.

Да, вымершее человечество будет продолжать есть рыбу. Откуда ему знать, что оно умерло? Своей смерти оно просто

Эдуард Резник

не заметит. Никто не скажет ему об этом: некому будет сказать, если все умерли.

Сотни и тысячи лет мой фартук будет продолжать периодически менять надевающих его людей — он ведь не может работать сам, он всего лишь фартук, — в нем обязательно должен находиться кто-то умерший. Один из них сейчас я.

Может, человечество догадается когда-нибудь поставить вместо себя к конвейеру каких-нибудь дрессированных обезьянок или роботов? Это плохо, что человечество уже целое столетие стоит у конвейера — это смерть, это отупляет, это тоска. Хочется убить кого-нибудь. Лучше, конечно, поставить роботов, а не обезьянок — зачем заставлять милую обезьянку страдать так же, как страдает сейчас гордая вершина земной эволюции?

Интересно было бы заглянуть в будущее. Вы, которые читаете меня через сто лет, — вы продолжаете стоять у конвейера? Если да, то какого беса? Немедленно бросайте эту тоскливую дрянь, и тогда стоимость вашего труда взлетит до небес: роботы благодаря этому появятся быстрее, и людям больше не придется самим превращаться в роботов и губить за бесценок не только свои жизни, но и жизни будущие.

Будущие жизни — это мы, ваши дети. А губить нас — это отдавать нас по утрам на растерзание общественным воспитателям. Общественные воспитатели — это злые звери, а злы они потому, что живут в тоске. А тоска у них потому, что их работа — это тот же конвейер, что и ваш. Только вместо рыбы на нем — мы, ваши дети.

Передача нас на шестеренки этого конвейера — предательство тех, кого доверил вам бог. Небесное доверие вы обманываете привычно и ежедневно. Нет, на этом конвейере воспитатели не вспарывают нам кишки и не отрезают нам головы — тут вы можете быть спокойны. Они всего лишь превращают нас в солдат.

Из этих солдат складываются потом целые армии: это и есть причина, почему каждое столетие вы гибнете сотнями миллионов. И будете гибнуть, пока не измените это. Но вы не из-

Терапия

мените — потому что вы предпочитаете не замечать своего предательства.

Вы не хотите замечать наших слез, наших тревог и страхов, нашего отчаяния и горя. Вы не чувствуете холода и одиночества, в которых мы живем каждый день. И своей смерти вы тоже не замечаете — потому что вы сами рыба. Кишки налево — ваши. Головы направо — тоже ваши. Так вам и надо — продолжайте умирать сотнями миллионов.

Кстати, если вы даже не отдаете нас общественным воспитателям, а растите сами, это тоже предательство. Потому что все равно вы рыба на чьем-то конвейере, а рыба — плохой воспитатель.

Вся ваша жизнь — это служение конвейеру, а также движение по нему — навстречу несколько печальному расставанию со своими кишками и головой: в угоду кому-то таинственному и незримому, кто съест вас за семейным столом.

Вот почему все, на что вы способны в смысле воспитания детей, — это безостановочно мстить ребенку за свою тоскливую судьбу. Ежедневно вытаскивать из него кишки. И бросать их налево. Отрезать ему голову. И бросать ее направо. Вот максимум того, на что вы способны.

Вы поедаете собственных мальков. И вам вкусно. Вам не надо иметь детей. Остановитесь. Не рожайте нас. Все, что от вас требуется, — продолжать тоскливо гибнуть миллионами. Пусть вы все умрете. Пусть планета опустеет. Пусть так длится до тех пор, пока вы не захотите понять хоть что-нибудь из тех очень простых вещей, которые без всяких умных книжек понимают животные, когда растят своих детенышей.

* * *

То, что нас окружает, неизбежно становится частью нас. Доктора Циммерманна, например, окружают портреты каких-то строгих научных бородачей — из-за этого он и сам кажется бородачатым и научным, хотя подбородок у него безволосый, как моя пятка.

Эдуард Резник

Его работа не требует фартука, он не стоит в тоске и сырости, сжимая нож, обмотанный рыбьими кишками, — к нему приходят хорошо одетые люди и в сухой уютной обстановке рассказывают ему свои истории.

Эти люди, а вместе с ними и их истории, становятся, наверное, частью его самого — он ведь о них думает даже тогда, когда этих людей нет рядом. Он переживает за них и вспоминает их слова — разумеется, не из сочувствия, а всего лишь потому, что они наполняют его пустую жизнь хоть какими-то переживаниями.

А ко мне никакие хорошо одетые люди не приходят. Вместо них бесконечным потоком едет мертвая рыба — день за днем, месяц за месяцем, столетие за столетием. Просто обезглавить. Просто вспороть ей брюхо. Ни одна рыба пока еще не попросила, чтобы в сухой уютной обстановке я выслушал ее историю.

Впрочем, какая у рыбы может быть история? Такая же, как у всех остальных рыб: ужасно волнующая — о том, как плавала она в воде, увлеченная поиском своего червячка, а также, допустим, руководствуясь неотчуждаемым стремлением к счастью. Но тут всех вдруг накрыло какой-то непонятной сетью, и все сразу очутились здесь, на этой черной страшной ленте. И эта лента с грохотом и дрожью едет куда-то во мрак, из которого никто пока еще не вернулся живым... «Что я сделала не так? — спрашивает себя, наверное, рыба. — Как мне надо было жить, чтобы не попасться в эту сеть? Может, я неправильно плыла? Неправильным червячком увлеклась? К неправильному счастью стремилась?»

Странно здесь то, что люди день за днем раскидывают свои сети уже сотни лет, но для рыбы, оказавшейся в сети, это всегда почему-то неожиданность.

* * *

Сейчас эта бедная рыба, охваченная мучительными посмертными сомнениями в правильности выбранного ею червячка или правильности своего стремления к счастью, проплывает передо мной по ленте, и так длится день за днем и ночь за ночью.

Терапия

После того как рыба мелькает перед моими глазами целый день, она и ночью меня не покидает — снится. Я просто чувствую, как она становится мной, а я становлюсь ею. Думаю, недалек тот день, когда я проснусь, почешу себе бок и в недоумении обнаружу там чешую, плавник и жабры.

Смысл этой рыбы, пока она едет по конвейеру, в том, чтобы ей отрезали голову и выпустили из нее кишки. Больше ни за чем она на этом конвейере не нужна. Пока я стою у конвейера, смысл этой рыбы становится и моим смыслом. Почему я до сих пор не вспорол себе живот и не отрезал себе голову?

Знаете, выпуская рыбе кишки, я не испытываю никакого омерзения — иначе я не смог бы здесь работать. Даже наоборот, каждое обезглавливание, каждое вспарывание живота дарит мне еле заметный импульс чего-то приятного. Если вы думаете, что я какой-то больной маньяк, получающий удовольствие от проникновения холодным ножом во влажную плоть еще живого минуту назад существа, вы ошибаетесь. Да, это малоприятный процесс. Но он дарит мне ощущение полезности миру. Я не могу без этого.

Возможность быть полезным дарится тем обстоятельством, что наш мир стыдливо и безостановочно нуждается в этой варварской дряни — в обезглавленной рыбе с выпущенными кишками.

Природа создала рыбу красивой. Такой она ко мне и поступает. Но такая рыба не нужна человечеству. Чтобы человечеству было хорошо, голову надо отрезать. И вот именно для этого у человечества есть я. Теперь вам понятна истинная цель, ради которой появилось на свет волшебное, уникальное чудо природы по имени Рихард Лендорф?

* * *

Рыба — это не только моя нужность миру. Это еще и общение. Посылая человечеству обезглавленную рыбу, я общаюсь с огромным количеством людей: например, с теми, кто будет

Эдуард Резник

есть ее за семейным столом. Или с теми, кто в каком-нибудь ресторане будет ее жарить.

Я незнаком с этими людьми и никогда их не увижу, но я чувствую их теплоту — я знаю, что эти люди есть, их много, я с ними связан через молчаливое рыбное взаимодействие, и таким образом мы вместе. А ведь это так прекрасно — не быть одному, а быть всем вместе!

Вот это я и скажу кому-то, кто когда-нибудь снова заплачет внутри меня от одиночества. Суну эту мертвую, скользкую, холодную рыбу ему в морду и скажу: кончай плакать, придурок! Радуйся, что ты не один!

* * *

Доктор Циммерманн как-то сказал мне, что задачей искусства является свидетельство прекрасного. А в данном случае вы и сами видите, что с прекрасным у этого человека проблема. С ногтями и волосами проблем у него нет, а вот с прекрасным — увы. Так что советую переключиться, пока не поздно, — например, на какую-нибудь сказочку о том, как добро побеждает зло. Добро в сказках всегда побеждает. А здесь оно не победит.

Этот призыв был сделан только для радостных. А те, кто в злобе и отчаянии, их я попрошу не бросать меня. Я не хочу плакать во мраке один, и вы не хотите. Зачем, если можно плакать вместе?

Теперь, когда я уже столетний посмертный дед, могу сказать с уверенностью, что люди делятся в первую очередь на радостных и безрадостных и только во вторую очередь на богатых и бедных, черных и белых, мужчин и женщин, больных и здоровых, молодых и старых.

Мы, безрадостные, всегда находим друг друга в толпе. А радостные нас не видят. Нас для них нет. Мы видим всех, а радостные — только себя. Мы никогда не пойдем их, а они нас. Им действительно лучше держаться своей радостной компании, читать друг другу сказки о победе добра, а нас к себе не пускать.